ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОМАН

ВИКТОР

СПИСАННЫЙ

ЧАСТЬ III

Илья Калинин

Виктор — Списанный. Часть III

«Автор»
2026

Калинин И.

Виктор — Списанный. Часть III / И. Калинин — «Автор», 2026

Тёплый берег остался за кормой. Виктор Скорев бежал с курорта, рассыпав по порту десяток ложных билетов, и уверен, что купил себе четыре месяца путаницы. Но за ним идут не так, не те и не за тем — и первый, кто сядет с ним в один салон, ни разу на него не посмотрит. Списанный по возрасту третий помощник мусоровоза больше не бежит. Он считает. Узкие люди видят каждый своё: пилот — курс, механик — движок, убийца — цель. Виктор видит, как всё складывается в одно, и впервые обращает этот дар не на сделку, а на тех, кто охотится.Оружия он в руках не держал никогда. Ему и не нужно: на дне убивает железо, которое лопается, груз, который срывается, слово, сказанное нужному человеку, и молчание там, где надо было крикнуть. Мёртвый борт, старые долги, деньги, которые оказались не тем, чем казались, и люди, которые оказались не теми, — всё сходится в один особый счёт. Без жалости. Без поминок. Трезвым расчётом.

© Калинин И., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 59. Салон 5
Глава 60. Хвост 9
Глава 61. Строп 13
Глава 62. Опись 17
Глава 63. Заяц 21
Глава 64. Рука 25
Глава 65. След 29
Конец ознакомительного фрагмента. 32

Илья Калинин
Виктор — Списанный. Часть III

Глава 59. Салон

Тёплую планету я списал в первую же ночь.

Списал так, как на Профите списывали груз, сорванный на погрузке: одной строкой, без объяснений и без поминок. Было — и нет. Разбирать, отчего сорвало, будем после, если будет кому разбирать. Кто стоит над сорванным грузом и горюет, тот не успевает отскочить от второго, а второй, я знал по опыту, приходит почти всегда.

Счёт я начал на вторые сутки, когда борт уже набрал ход и в общем салоне погасили дневной свет, оставив вдоль прохода тусклые полосы, по каким ходят в отхожее и к раздатчику. Я сел в своё кресло — у самой переборки, спиной к железу, лицом к проходу, — достал из сумки свою синтетику, какую возил с собой всегда, не доверяя чужому столу, съел половину плитки, запил водой и стал считать.

Сначала то, что при мне. Ключ у бедра — старший, судовой, с мёртвого борта, и две его битые части при нём; тёплый, как всегда, тяжёлый не весом. Пояс, в который ещё на курорте я зашил три своих старых ключа с Профита и тот первый, оплавленный, из которого Чиф когда-то вытянул мне меньше половины, — с ним я так и не расстался, хоть проку в нём оставалось на донышке; бедный человек не выбрасывает и донышка. Ключи с курортными комиссионными, честными, на дорогу и на первую жизнь где-нибудь. Одна перемена платья в сумке, бритва, нитки, плитки синтетики на две недели, бумаги на то имя, под каким меня знали на берегу. Сапоги на ногах, добрые, неброские. Руки. Голова. Всё.

Потом то, что осталось за кормой. Квартира у воды, за которую заплачено до конца сезона, — строка. Четыре перемены тихого платья в шкафу и три старых — строка. Наследниковы проценты по трём последним сделкам, которые он перевёл бы мне к концу месяца, — строка, и жирная. Тихие мои покупатели, что верили мне по поруке, — строка без цифры. Уважение, покой, имя на том берегу — ещё строка без цифры. Мечта — строка без цифры совсем, потому что цифры у неё не было никогда; я подержал её в руках, она была тёплая, а тепло в графу не впишешь.

Я подвёл черту и поглядел на итог. Итог выходил такой: я жив, ключ при мне, деньги при мне, на мне нет ни одной царапины, и никто на этом борту не знает, кто я. За такой итог на дне полжизни отдают. Остальное — убыль. Убыль бывает на всяком рейсе, её списывают и идут дальше, а кто начинает пересчитывать убыль по второму разу, тот теряет время, которое мог бы потратить на то, чтоб убыли не стало больше. Потерянное от пересчёта не возвращается. Это я знал ещё с тех пор, как Чиф выковыривал из моего оплавленного ключа последние крохи и сказал, что считать надо то, что осталось, а не то, что сгорело.

Дальше был план. Борт шёл к Кроссингу, проходному миру на пересечении нескольких линий, — девятнадцать суток пути, если не будет задержек на разгоне. Кроссинг я выбрал из десятка своих билетов не за близость и не за дальность, а за то, что через него идёт больше народа, чем через любой другой мир в той стороне. Там я сойду, растворюсь в толпе, возьму новое место на другом борту, под другим именем, у другой кассы, и так пересадка за пересадкой, петля за петлёй, четыре месяца, покуда след не остынет так, что о него обожжётся разве тот, кто сам его оставил. Я разложил эти четыре месяца по дням, как раскладывают рейс: где сойти, где переждать, где сменить платье, где поменять ключ на наличные, где не менять ничего. Работа была знакомая, скучная, спокойная. Я делал её и чувствовал, как во мне выравнивается дыхание.

Перебрал я и свои десять билетов — так, как перебирают уложенный груз перед стартом, проверяя крепёж. Коммерсант, что едет по торговому делу. Паломник к больной родне. Приезжий по семейной надобности. Десять имён, десять касс, десять миров, десять дней. Тот, кто придёт в порт спрашивать про меня, найдёт десять дорог и ни одной верной. Пошлёт людей по всем — растратит людей; не пошлёт ни по одной — растратит время. А время в таком деле дороже людей: за месяц след стынет, за четыре — замерзает. Я прикинул, сколько их, и решил, что немного: двое у конторы стояли так, как стоят люди, которым некого позвать на подмогу. Значит, по десяти дорогам им не пойти. Значит, встанут и станут гадать. А покуда гадают — я петляю.

Борт был большой, проходной, средней руки. Наверху, на двух палубах, жили каютные — те, кто платит за дверь, которую можно запереть. Внизу, в общем салоне, ехали мы: ряды откидных кресел, шкафчики под замок, раздатчик с горячей водой и пресной кашей в конце прохода, отхожее с очередью по утрам. Воздух был рециркулят, но рециркулят хороший, не профитовский, без запаха чужого груза за переборкой; я отметил это так же, как отметил ровный, без перебоев, гул движка где-то под ногами. Чиф сказал бы, что движок сытый. Я слушал его по привычке, как слушает механик, — и ловил себя на том, что слушаю ещё и потому, что движок был единственным на этом борту, кто не мог меня ни узнать, ни запомнить.

Салон я разобрал за первые сутки — так, как разбирают трюм перед погрузкой: что тут лежит, сколько весит, куда может поехать.

У середины прохода ехала семья — муж, жена, двое детей. Муж был мой ровесник по бумаге, сухой, со впалыми щеками, и по тому, как он держал руку на кармане и как шевелил губами, глядя в потолок, я видел, что он считает — не молится, а именно считает, переводит что-то из одного в другое и опять не сходится. Ехали на новую работу, на завод где-то за Кроссингом, — это я слышал, как жена говорила детям. Мальчишка лет восьми глядел на всех подряд, долго и в упор, как глядят дети, которые ещё не знают, что глядеть неприлично; девчонка помладше спала у матери на коленях.

Через три ряда от них ехала старуха с чётками — богомолка, к какой-то святыне на дальнем мире, сухая, тихая, вся в сером. Она перебирала свои бусины целыми днями и шевелила губами, и, если бы не бусины, её можно было бы принять за того же счетовода, что и отец семейства.

Ближе к раздатчику сидел торговец — круглый, громкий, в платье, которое хотело казаться дорогим и оттого выглядело дешевле, чем было. Он торговал мелкой галантереей по всем мирам этой линии и знал всех, или делал вид, что знает: к исходу первых суток он поговорил с каждым в салоне, со стюардом, с богомолкой, и подбирался ко мне.

А в хвосте салона ехали работяги — шестеро, по виду с одного найма. Пятеро были настоящие: крупные, тяжёлые, с руками, как подошвы, с теми бурыми въевшимися в кожу пятнами, какие оставляет порода; говорили громко, ели много, играли в карты на щелчки по лбу, лузгали что-то солёное и сплёвывали шелуху в кулак. Ехали они на Кроссинг наниматься на рудничные контракты — там, говорили они, берут всякого, хоть беглого, хоть с отметкой, лишь бы руки были и спина гнулась, а в карго-парке у ворот поденщиков нанимают прямо с улицы, на смену, без бумаг. Шестой был с ними и не с ними. Пятеро звали его новеньким: подсел к ним в порту на курорте, сказал, что тоже наниматься, а больше о себе ничего. Он был крупен, как они, и тих, как никто из них. В карты не играл, солёного не лузгал, спал много, сидя, свесив голову на грудь.

Я приметил на нём две вещи и отпустил обе.

Первая — сапоги. Новые, на толстой подошве, с прошивкой, какую не делают на дешёвой фабрике. На рудник такие не покупают. На руднике сапог — инструмент: его донашивают до дыр, латают и снова донашивают, и едут наниматься в старом, потому что новое там сотрут за неделю, а денег на новое не будет до первой получки. Вторая — руки. Я разглядел их, когда

он брал у раздатчика кашу: чистые, белые, с ровными ногтями, без единой мозоли. У того, кто едет в шахту, руки как подошвы, у этого — как у конторщика.

Я отметил то и другое — и отпустил. Мало ли кто едет наниматься на рудник. Проигрался. Разорился. Сбежал от жены, от долга, от закона. Купил сапоги на последнее, чтоб не стыдно было явиться к вербовщику. На проходных бортах едут сотни таких, кто был кем-то и стал никем, и руки у них ещё не успели об этом узнать. Беглому разглядывать беглого — всё равно что глядеть в зеркало: увидишь много, а толку никакого. Я и сам был такой — человек в добром платье, что едет в общем салоне. Пусть и он едет.

Правило у меня было одно, старое, проверенное на заставах и в портах: опасен тот, кто глядит дважды. Первый взгляд — от любопытства, от скуки, оттого, что глаз сам цепляет новое лицо. Второй — уже работа. Я сидел у своей переборки и вполглаза ловил, кто и как глядит на меня.

Глядели все. Мальчишка — в упор, долго, пока мать не дёрнула его за рукав. Богомолка — раз, поверх бусин, и опустила глаза. Отец семейства — прикидывая, как прикидывают все бедные, сколько стоит моё платье и отчего я не наверху. Работяги — так, как глядят пятеро крепких мужиков на одного немолодого, хорошо одетого: оценили, сочли пустым и забыли. Торговец — тот глядел, не переставая, потому что ему было скучно, а я был единственным в салоне, кого он ещё не разговорил.

На вторые сутки он своего добился.

— Позвольте, — сказал он, плюхаясь в пустое кресло через проход. — Еду, гляжу — человек солидный, а сидит с нами, внизу. Не по чину вам, я так скажу.

— По карману, — сказал я.

— Ну-ну, — сказал он и подмигнул. — Скромничаете. Платье-то на вас какое. Я в платье понимаю, я тридцать лет пуговицами торгую. По делу едете?

— По делу.

— А по какому, позвольте?

— По скучному.

Он посмеялся, будто я пошутил. Я не шутил. Скучное не держит внимания — это я выучил давно, на первой своей заставе, где жаловался служаке на движок, чтобы он перестал меня разглядывать. Торговец спросил, куда я, — я назвал Кроссинг, как называли его все в этом салоне. Спросил, откуда, — я сказал, что с курорта, и пожаловался, что там дорого, что воздух хорош, а еда дрянь и цены грабительские, и что больше туда ни ногой. Он охотно согласился: он сам там ничего не продал, богачи пуговиц не покупают. Через четверть часа он знал обо мне всё, что я хотел, чтобы знали: немолодой, скупой, едет по делам, ругает курорт. Через полчаса ему стало со мной скучно, и он перебрался к работягам смотреть, как те играют.

Я сам его этим отпустил — и, отпуская, видел краем глаза, как сидит новенький. Пока торговец сидел у меня, новенький отвернулся. Не просто не глядел — отвернул голову к своему иллюминатору, где не было ничего, кроме черноты.

Тогда я этого не сложил.

К вечеру вторых суток я сделал то, что делаю на всяком новом месте: проверку. Пошёл к раздатчику за водой и у самого раздатчика уронил кружку. Не нарочно, а так, как роняют от неловкости: задел локтем, кружка упала на настил и покатилась, звякая, под ноги работягам. Звук в тихом вечернем салоне вышел громкий. На него обернулись все, кто не спал. Мальчишка привстал. Торговец сказал что-то весёлое. Ближний работяга наступил кружке на бок, поднял, протянул мне, хмыкнув. Богомолка, не переставая перебирать бусины, глянула и опустила глаза. Я поблагодарил, налил воды, вернулся к себе и, садясь, отметил, кто как оборачивался. Новенький не обернулся. Он спал — сидя, свесив голову.

Ночью я не спал. Я и вообще не спал среди людей с тех пор, как на первой пересадке, давно, рука карманника прошла в вершке от моего бедра; спал днём, урывками, когда салон

гудел и всякое движение было на виду. А ночью сидел у своей переборки с закрытыми глазами и слушал.

Салон дышал. Посапывали дети. Кто-то из работяг храпел так, что дрожала обшивка. Богомолка шептала во сне. Отец семейства ворочался — и тот, видно, считал. Под ногами ровно гудел сытый движок. Я сидел, слушал и, как всегда перед сном, которого не будет, перебирал прожитый день — не вещи, а взгляды. Это была старая моя привычка, вывезенная с Профита, где я учился читать команду: к ночи разложить по полкам, кто на тебя смотрел, как и зачем.

Я раскладывал. Мальчишка — любопытство. Богомолка — вежливость. Отец семейства — прикидка. Торговец — скука. Пятеро работяг — оценка и забвение. Стюард, что проходил с тележкой, — привычка, он глядит на всех, считая пустые кресла. Каютный господин, что спускался днём к нам поглазеть, как живут внизу, — брезгливость.

А новенький?

Я перебрал день сначала, медленно, как перебирают мешок с ветошью в поисках оброненного ключа. Утро — он ел кашу, спиной ко мне. Полдень — спал. Торговец у моего кресла — отвернулся к пустому иллюминатору. Кружка у раздатчика — спал. Вечер — смотрел, как пятеро играют в карты, и ни разу не повернул головы в мою сторону, хотя сидел так, что я был у него прямо за плечом и, чтобы видеть игру, ему было бы удобнее повернуться ко мне, чем от меня.

Ни разу. За двое суток в тесном салоне, где все глядели на всех, потому что больше глядеть было не на что, он не глянул на меня ни разу.

Я открыл глаза и посмотрел в темноту прохода, туда, где в хвосте салона, свесив голову на грудь, сидел новенький, и почувствовал знакомый холод — тот, что всегда приходил ко мне не перед бедой, а тогда, когда я понимал, что беда уже давно рядом.

Человек, которому ты безразличен, хоть раз на тебя да глянет — от скуки, от безделья, оттого, что ты попал ему в глаз, как попадает всякая вещь, стоящая на виду. Чтобы ни разу не глянуть на человека в двух шагах за двое суток, надо держать его в голове постоянно. Не смотреть на кого-то — тоже работа, и работа тяжёлая: глаз сам тянется, его надо одёргивать, всякий раз, сто раз на дню. Так не глядят на чужих. Так не глядят на тех, до кого нет дела. Так не глядят только на того, на кого глядеть нельзя, потому что он может заметить, что на него глядят.

Новые сапоги. Чистые руки. Подсел к пятерым в порту на курорте — в том самом порту, в тот самый час, когда я рассыпал свои десять билетов. Сказал, что наниматься, а больше ничего. Спит сидя, свесив голову, так, что лица не видно, а слышать — слышно всё.

Я сидел, не двигаясь, и думал теперь быстро, ровно, набело, как думал всегда в такой час. Мои десять билетов. Мои кассы, личины, ложные концы. Мои четыре месяца, разложенные по дням. Вся эта путаница, которой я так гордился ещё вчера, строилась против того, кто станет потом спрашивать кассиров, куда взял билет такой-то. Против того, кто идёт по бумагам. Против того, кто опаздывает.

А этот не опоздал. Этот не спрашивал кассиров. Этот сел со мной на один борт.

Профессионал не глядит дважды. Он не глядит вовсе.

Четыре месяца, купленные мной в порту за десяток билетов, кончились, не начавшись.

Глава 60. Хвост

Семнадцать суток до Кроссинга я прожил так, будто не знал ничего.

Это было труднее, чем бежать. Бежать тело умеет само, а вот сидеть в двух шагах от человека, который тебя ведёт, есть ту же кашу, стоять в той же очереди к отхожему, спать вполглаза под тот же храп и ни разу не дать ему понять, что ты его видишь, — такой работы я прежде не делал. Узнанный хвост — уже не хвост, а вожжа. За вожжу можно тянуть, но только покуда тот, кто держит другой конец, не знает, что ты её нащупал. Стоит ему понять — и он бросит вожжу и возьмёт что-нибудь потяжелее.

Так что я сидел, как сидел, у своей переборки и смотрел на него так же, как он на меня, — никак. Глядел я в другое. В тёмное стекло иллюминатора, где по ночам, когда в салоне горели одни полосы вдоль прохода, отражалась вся хвостовая половина. В полированный бок раздатчика, кривой, как ложка, но годный. В лица пятерых работяг, которые, сами того не зная, показывали мне, где он и что делает: когда новенький вставал, они поворачивали головы, когда садился — отворачивались.

И я считал.

Если он тот, кем я его счёл, — почему не взял меня на борту? Борт — ящик. Из ящика не уйти: вот переборки, вот палубы, вот девятнадцать суток пустоты за обшивкой. Бери, когда хочешь. Но брать на борту — значит при стюардах, при каютных, при журнале, куда капитан впишет пропавшего пассажира, при досмотре на Кроссинге, где спросят, куда он делся. Шум. Шума они не любят: двое у конторы стояли открыто, не прятались, но и не шумели. Значит, не возьмёт на борту. А сойдя? На Кроссинге можно всё, на проходных мирах людей теряют, как теряют перчатки. Но если бы им был нужен только я, меня взяли бы ещё на курорте — в проулке за конторой, в порту, у кассы, где я стоял к ним спиной. Не взяли. Сел со мной в салон и спит, свесив голову.

Значит, им нужен не я. Им нужно то, куда я пойду. К кому. С чем. Им нужно, чтоб я, думая, что ушёл, отнёс их к тому, что они ищут, — к ключу, к тайнику, к людям, через каких я двигаю деньги, ко всему, что не уместилось у меня у бедра. Хвост — это не нож. Хвост — это нитка, привязанная к птице, чтоб найти гнездо.

От этой мысли мне стало спокойнее, а не страшнее. Нож не ждёт. Нитка ждёт. А пока нитка ждёт, у птицы есть время.

Один раз он всё же подошёл ко мне вплотную. Это было на одиннадцатые сутки, глубокой ночью, когда салон спал весь, до последнего храпа, и горели одни полосы вдоль прохода. Я сидел с закрытыми глазами и дышал ровно, как дышит спящий, — этому я выучился ещё на Профите, где Бёрк по ночам проверял, сплю ли я. Шаги я услышал издалека: он шёл к отхожему, как ходят все, мягко, вразвалку, шаркая на повороте. У моего ряда шаги не замедлились и не ускорились, прошли ровно. Но на долю вдоха я почуял его над собой — не глазом, глаза были закрыты, а кожей лица, которая чувствует тепло чужого тела. Он не остановился. Он прошёл мимо, только на ходу, я знал это так же верно, как если бы видел, глянул туда, куда глядит всякий, кто ищет то, что у меня есть, — на бедро. Обратно он прошёл тем же ровным шагом. А я досидел до утренних ламп, не открывая глаз, и считал. Человек, который ни разу не глянул мне в лицо, глянул туда, где лежал ключ. Значит, знает, что ищет и где. Значит, ему сказали. А сказать про бедро мог только тот, кто видел, как я держу на нём руку, — и видел не день и не два.

Эту строку я записал себе отдельно и отложил. Разбирать её было рано.

На восемнадцатые сутки, к вечеру, борт пошёл на торможение, и в салоне все разом засуетились, как суетятся всегда перед посадкой: заговорили, полезли в шкафчики, стали увязывать мешки. Торговец обошёл всех, прощаясь, и сунул мне в руку свою карточку — пуговицы,

пряжки, тесьма, оптом и в розницу, на всех мирах линии. Я поблагодарил и положил карточку в карман: бумажка торговца — лучшая бумажка, какую можно иметь при себе, она объясняет человека, а не выдаёт. Богомолка перебирала свои бусины быстрее обычного. Отец семейства в который раз пересчитывал что-то, шевеля губами. Новенький проснулся, потянулся, взял свой мешок — небольшой, на одно плечо — и сел ждать, глядя в пол.

Кроссинг открылся в иллюминаторе бурым, как старый ожог. Сухой мир, тонкий воздух, ветер, что гонит пыль по равнинам на тысячи вёрст, а посреди равнин — порт, такой огромный, что его видно с орбиты: серое пятно, расползшееся по степи, как плесень по хлебу. Здесь не жили. Здесь проходили. Сюда сходились восемь или десять линий, и всё, что двигалось по этим линиям, — люди, грузы, деньги, беглые, вербованные, торговцы, богомолки — выгружалось тут, перетряхивалось, перекладывалось и грузилось дальше. Мир, который никто не выбирает. Мир, через который идут все. Когда борт заходил на посадку, я разглядел с высоты и карго-парк — ряды контейнеров до самого горизонта, краны на рельсах, тягачи, что ползли между рядами, как жуки, и ворота, у которых даже отсюда видна была толпа.

Мы сели на третьем поле к северу, в гул и пыль. У выхода с поля стояли столы досмотра — четыре стола, четыре служаки в серой форме, над каждым табло с перечнем миров. Досмотр на Кроссинге был не досмотр, а счёт: служака брал бумаги, совал в считыватель, глядел на свечение, ставил отметку и брал следующего, не поднимая глаз. Через Кроссинг шло столько народу, что глядеть каждому в лицо значило не пропустить никого. Мои бумаги прошли, как проходят бумаги человека, у которого всё в порядке и ничего не интересно. Новенький стоял через стол от меня. Я видел, как служака сунул его бумагу в считыватель, глянул на свечение — и поднял глаза. Впервые за всю очередь служака поднял глаза на лицо. Посмотрел на новенького, кивнул ему, как кивают своим, и отметку поставил не глядя. Что было у него в бумаге, я не знал. Знал только, что от его бумаги у служаки поднимаются глаза, а от моих опускаются.

Нас выпустили в терминал — длинный, низкий, гулкий, с потолком, затянутым сетью от птиц, хотя никаких птиц в этом воздухе не было. Пахло горячей пылью, машинным маслом, жареным тестом, потом многих миров. Под потолком мигали табло на десятке наречий. Толпа несла сама, как вода.

Я дал ей себя нести и стал ставить проверки.

Первая была простая. Пятеро работяг, сойдя, сразу пошли в найм — длинный барак у края терминала, где под вывесками рудничных и строительных контор стояли столы вербовщиков и висели списки работ с ценами за смену. Новенький шёл с ними, как шёл весь рейс. Я пошёл туда же, следом, будто и мне надо. Зашёл в барак, постоял у одного списка, у другого, почитал, сколько платят за смену в шахте на Пыльном Поясе и сколько — на стройке купола у Сухих Озёр. Пятеро встали в очередь к рудничному столу. Новенький встал с ними.

Тогда я вышел из барака через дальнюю дверь — ту, что вела не обратно в терминал, а в боковой коридор к кассам дальних линий. Вышел не спеша, как выходит человек, который передумал.

В стекле закрывавшейся за мной двери я видел, как новенький постоял в очереди ещё десяток вдохов и вышел из неё. Не к дальней двери, нет: к ближней, обратно в терминал, а оттуда по широкой дуге, через толпу, в тот же коридор к кассам. Пятеро остались в очереди. Им до контрактов было дело. Ему — нет. Человек, что девятнадцать суток трясся в общем салоне ради рудничного стола и уже стоял к нему в очереди, не уходит из неё за десять человек до стола. Если только рудник ему не нужен.

Одна проверка — это ещё не правда. Это примета. Приметам я не верил с тех пор, как на первой своей заставе увидел, что усталый служака бывает вымогателем, а злой — честнее усталого.

Вторая проверка была дороже. Я подошёл к кассе дальних линий и купил место на рудовоз, что уходил через трое суток на глухой мир за Пыльным Поясом, — самый дешёвый, самый

неудобный, самый не мой. Купил громко, дважды переспросив название мира, так, чтоб было слышно на три шага. С билетом сел в зале ожидания при этой кассе — в углу, на скамье, спиной к стене, лицом к залу. Зал был полупустой: кто ждёт рудовоза три дня, тот ждёт не здесь, а в ночлежке.

Новенький появился через четверть часа. Подошёл к той же кассе. Что купил, я не слышал, — он говорил тихо. Потом сел в том же зале, в другом углу, наискось от меня, и свесил голову на грудь.

На рудовоз, что уходит через трое суток, не садятся ждать в зале, где нет ни лежанки, ни еды. Сюда садятся, только когда ждут не рудовоза.

Третья проверка решала всё. Я посидел ещё, сколько сидит скучающий человек, потом встал, оставил на скамье сумку — ту, с переменой платья, бритвой и синтетикой — и пошёл к лотку с жареным тестом у выхода из зала. Будто за едой, будто на минуту, будто сумку оставил по рассеянности, как оставляют усталые. Лоток стоял так, что из-за его стеклянной витрины, заставленной противнями, был виден весь мой угол.

Я купил теста, жевал его, стоя к залу боком, и смотрел в стекло витрины.

Вор бы сумку взял: зал полупустой, хозяина нет, сумка хорошая. Честный бы её не заметил: чужая сумка — чужое дело. Новенький не сделал ни того, ни другого. Он поднял голову — впервые за все эти дни я видел его лицо открытым, — и лицо это было спокойное, крупное, без примет, как стёртая монета. Глядел он не на сумку, а на тех, кто проходил мимо неё. На носильщика, что прокатил тележку. На женщину с ребёнком, что присела на край моей скамьи. На парня в форме портового служащего, что задержался у скамьи и оглядел сумку. Он глядел, кто к ней подойдёт. Кто придёт за ней вместо меня. Кому я её, может быть, оставил.

Так глядят не на вещь. Так глядят на почтовый ящик, в который сейчас что-то положат или из которого что-то возьмут.

Я доел тесто, вытер пальцы, вернулся к скамье, взял сумку, будто спохватившись, и сел на прежнее место. Новенький опустил голову.

Вот теперь это была правда.

Я сидел и чувствовал, как во мне всё становится ровным и холодным, тем особенным холодом, что приходил ко мне всегда в тот час, когда пора было не бояться, а решать. Бояться буду после. Сейчас надо было разложить, что у меня есть и чего нет.

Уйти от него на Кроссинге я не мог. Здесь можно потеряться от тех, кто ищет тебя по бумагам, но не от того, кто сидит в трёх скамьях от тебя. Он моложе, крепче, не устал, и не отставать — его ремесло. Я мог бы петлять по этому порту неделю, менять залы, ночлежки, платье, и всю неделю он шёл бы за мной в двадцати шагах, а к концу недели сюда прилетели бы те двое.

Что они прилетят, я не сомневался. Около полудня, ещё до третьей проверки, я видел, как новенький на минуту отошёл к будке дальней связи у колонны — платной, с прорезью для ключа — и отбил что-то короткое, в три-четыре слова. На дальней связи каждое слово стоит денег и пишется в реестр, и говорят там коротко. Что он отбил, я не видел. Но я и так знал: прибыли, ведём, ждём. Где-то на этой линии, на быстром катере, какой не возит пассажиров, его ждали двое, и он только что сказал им, куда лететь.

Пойти к портовой страже? Сказать, что за мной ходят? Стража спросит, кто я. Покажи бумаги, господин, и объясни, отчего с такими бумагами едешь в общем салоне, отчего у тебя сумка на одну перемену и отчего ты купил билет на рудовоз, на котором не поедешь. А у него, я теперь не сомневался, бумаги лучше моих: люди, что ходят по чужим следам годами, ходят с бумагами, перед которыми стража встаёт смирно.

Откупиться? От хвоста не откупаются. Хвост, что взял деньги у того, за кем ходит, — дважды покойник: его убьют те, кто послал, если узнают, и тот, кто заплатил, если хвост захочет взять ещё. Он это знает не хуже меня.

Затаиться и ждать, что он ошибётся? Не ошибётся. Он девятнадцать суток ни разу на меня не посмотрел.

Оставалось одно. Хвост, который умер, ничего не доложит. Нитка, которую перерезали, никого никуда не приведёт. Двое прилетят на Кроссинг и найдут не меня, а пустое место — и ни слова от своего человека о том, куда я делся. Тогда им придётся начинать сначала. А сначала — это месяцы.

Убивать мне не приходилось. Так, по крайней мере, я привык себе говорить.

Я сидел на скамье в полупустом зале проходного мира, под табло, мигавшими на десяти наречиях, в двадцати шагах от человека, который меня вёл, и считал. Оружия я в руках не держал никогда. Драться не умею. Я старше его лет на двадцать и слабее вдвое, правая рука у меня с двумя кривыми пальцами, и нет при мне ничего, кроме головы. И ещё я думал, что на дне никто никого не убивает оружием. На дне убивает железо, которое лопается, груз, который срывается, воздух, которого не хватило, расчёт, в котором не сошлось. На дне убивают не руками, а местом: человек оказывается не там, где надо, на полшага ближе, чем можно, — и всё кончается в одно движение, без крика.

Я вспомнил, как пятеро работяг, лузгая солёное, говорили, что в здешнем карго-парке у ворот поденщиков берут прямо с улицы, на смену, без бумаг. Вспомнил, что новенький стоял с ними в очереди к рудничному столу, потому что легенда у него была одна на всю дорогу: еду наниматься. Вспомнил, что я тридцать лет таскал чужой груз, крепил его, считал, и что про стропы, тали и подвес я знаю больше, чем любой из тех, кто ходит по чужим следам с хорошими бумагами.

Хвост держится за свою легенду, как утопающий за доску. Куда пойду я, туда пойдёт и он — и пойдёт тем, за кого себя выдаёт, иначе выдаст себя. Если я пойду в поденщики, он пойдёт в поденщики.

Я решил его убить.

Решил спокойно, как решают, какой дорогой идти.

Глава 61. Строп

К воротам карго-парка я пришёл затемно, за час до первой смены.

Робу я купил с вечера на рыночке у ночлежек — серую, ношеную, с чужими заплатами на локтях, и рукавицы, толстые, рабочие. Своё доброе платье свернул и убрал в сумку, сумку сдал в камеру хранения при ночлежке за медяк. Рукавицы закрыли мне правую руку с её глянцевым рубцом и кривыми пальцами, роба закрыла остальное. В робе я стал тем, кем был тридцать лет, — человеком при чужом грузе, и тело вспомнило это раньше головы: плечи опустились, шаг стал короче, руки повисли так, как висят у тех, кто бережёт их для работы.

Новенький ночевал в той же ночлежке, через две двери от меня. Я слышал, как он вышел за мной следом — не сразу, выждав сколько надо.

У ворот уже стояла толпа, сотни две, может, больше: поденщики со всего Кроссинга, те, кому не досталось контракта, те, кто пропил контракт, те, кто ждал своего борта и хотел пережить ожидание не впроголодь. Пахло пылью, табаком, вчерашним потом. Над воротами горел белый фонарь, под фонарём на перевёрнутом ящике стоял бригадир найма с доской и выкрикивал, сколько нужно рук и куда: на седьмой ряд — двадцать, на погрузку к южному полю — сорок, на разбор — тридцать. Платили за смену, вперёд не платили, бумаг не спрашивали. Спрашивали одно: кто что умеет.

— Стропальщики есть? — крикнул бригадир. — Подвес на тяжёлое, к южному полю. Двое нужны.

Я поднял руку. Поднял не высоко — так поднимают люди, которым за работу не стыдно и которые набиваться не станут.

— Ты? — Бригадир оглядел меня сверху: немолодой, седой, роба ношеная. — Что вязал?

— Всё, что везут, — сказал я. — Контейнер на четыре ноги, на две с распоркой, мешок в удавку, длинномер на траверсе. Тридцать лет при грузе, на дальних рейдах, больше на мусоре. А на мусоре что ни груз, то кривой.

Мусорщиков понимают все. Бригадир хмыкнул и черкнул на доске.

— Южное поле, третья бригада. Старший подвеса у них слёг, будешь за старшего. Не уронишь — дам за полторы.

Я отошёл к третьей бригаде. Это были восемь человек, сбившихся у бочки с огнём: двое крановых, четверо на такелаж, двое на тележки. Старшим над ними стоял сухой злой мужик с перебитым носом, бригадный, который тут же спросил, правда ли я с мусорщиков, и, услышав, что правда, сплюнул: мусорщики, сказал он, вяжут на соплях, а тут груз дорогой, за него вычтут. Я сказал, что за мусор тоже вычитают, только из жизни, и он, поглядев, махнул рукой.

А бригадир на ящике кричал дальше: в третью бригаду на такелаж ещё один, без умения, на оттяжку.

Новенький поднял руку.

Я этого ждал. Я построил на этом всю ночь. Хвост держится за легенду, как утопающий за доску: он ехал наниматься, значит, должен наниматься. А главное — карго-парк был огорожен. За воротами на десятки вёрст шли ряды контейнеров, краны, тягачи, грузовые поля, и с этих полей каждые полчаса уходили грузовозы на все десять линий. Отпусти меня туда одного — и я мог сесть в любой грузовоз, отдать что-нибудь любому крановому, встретить кого угодно в любом проходе меж контейнеров, и он не узнал бы этого никогда. Стоять снаружи у ворот и ждать, выйду ли, значило потерять меня наверняка. Хвост, которого послали смотреть, куда понесёт, не может не пойти туда, куда понесли.

Так что он пошёл. Бригадир черкнул его на доске, и он встал к нашей бочке, в стороне, в своих новых сапогах на толстой подошве, и протянул к огню руки — белые, чистые. Бригадный глянул на эти руки и скривился.

— Ты на чём работал?

— На всяком, — сказал новенький. Голос у него оказался ровный, низкий, без выговора. — Возьмёте — сделаю.

— Возьмём, — сказал бригадный. — Оттяжку держать ума не надо. Будешь у старшего на подхвате. — И кивнул на меня.

Так он сам встал ко мне под руку.

Южное поле было километрах в трёх от ворот. Нас довезли на открытой платформе, в пыли, в рассветном холоде, мимо рядов контейнеров, что стояли в пять ярусов, ржавые, крашеные, мятые, с метками всех контор обитаемого мира. Карго-парк Кроссинга был тот же Дамп, только живой: сюда свозили не то, что выбросили, а то, что продали. На поле стоял грузовоз, пузатый, с открытым брюхом трюма, а перед ним на бетоне — штабель контейнеров, которые надо было поднять краном и опустить в трюм на место по раскладке. Работа знакомая, та же, что на Синдере и Хайве, только груз не прессованный, а настоящий.

Я пошёл смотреть стропы. Это первое, что делает старший подвеса, и это первое, что я делал на каждой погрузке все тридцать лет. Стропы лежали в ящике у крана — тросовые, на четыре ноги, с крюками, с бирками нагрузки, и были они такие, как везде на дальних полях: все негодные, и все годились. На одних распушились ряды проволоки, на других бирки стёрлись так, что нагрузку надо было помнить наизусть, третьи когда-то пережали, и они хранили на себе перегиб, как хранит перелом старая кость. Я перебрал их все, руками, не торопясь, и разложил на три кучки: годные, сомнительные и такие, что лопнут, если им дать повод. Бригадный стоял рядом и смотрел.

— Что ты их нянчишь, — сказал он. — Все одинаковые.

— Не все, — сказал я. — Вот этот, — я показал на третью кучку, — я бы выбросил.

— Выбросишь — с тебя вычтут. Строп казённый. Им ещё год работать.

Я пожал плечами и не выбросил. Он сам это сказал, при крановых, при такелажниках. Мне это и было нужно.

Работали мы до полудня. Я цеплял, крановой поднимал, четверо такелажников принимали контейнер в воздухе на оттяжки — длинные тросы с петлями на углах, за которые его разворачивают, чтоб лёг в трюм по раскладке, — и опускали на место. Новенький стоял на оттяжке у дальнего угла. Работал он плохо: держать оттяжку ума и правда не надо, но надо знать, когда тянуть, а когда отпустить, чтоб груз не раскачало, а он этого не знал и тянул, когда надо было отпустить. К третьему часу рукавицы у него протёрлись, и я видел, как он держит трос, подложив под ладони края рукавов: ладони он сбил в кровь. Он не сказал ни слова. Бригадный ругал его страшно, он молчал и тянул. Хвост терпел так, как терпят на работе, которая не работа, а прикрытие. И всё это время, принимая контейнер за контейнером, держал меня в поле зрения, ни разу на меня не взглянув.

Я считал. Контейнеры в штабеле были разные: полные, тяжёлые, и порожние, лёгкие, что шли обратной тарой. Среди них был один, что я приметил ещё утром, — длинный, двойной длины, с осевшим грузом. Как его загружали, я не знал, но, когда крановой качнул его на пробу, он ушёл носом вниз: груз внутри лёг к одному торцу, и центр тяжести сидел не посредине, а на трети длины. Такой контейнер цепляют на четыре ноги по-особому — короче к тяжёлому торцу, длиннее к лёгкому, а лучше на траверсу, чтоб тянуло ровно. Если зацепить его на четыре одинаковые ноги, как цепляют ровный, то при подъёме он пойдёт перекосом, и почти весь его вес ляжет не на четыре ноги, а на две, у тяжёлого торца. Две ноги, что держат вдвое против своего, — это уже не строп, а вопрос, лопнет или не лопнет.

Я знал ответ, если одна из этих двух ног — из третьей кучки.

После полуденной похлёбки бригадный велел поднимать длинный. Траверсу, сказал он, искать некогда, её утащили на соседнее поле, вешай так. Я сказал, что так его поведёт. Он сказал: поведёт — придержите оттяжками, за то вам и платят. Сказал при всех.

Я пошёл к ящику и взял стропы. Три ноги из первой кучки и одну из третьей — ту, когда-то перегнутую, с распушённой на сгибе проволокой, о которой бригадный сказал, что ей ещё год работать. Её я завёл на угол тяжёлого торца. Соседнюю, на том же торце, взял из годных, но на одно звено короче, чем надо, — так, чтоб при перекосе она легла на подхват не сразу, а на долю вдоха позже. Доля вдоха решала всё: в эту долю весь тяжёлый торец висел бы на одной перегнутой ноге.

Потом я расставил оттяжки. Это тоже было дело старшего подвеса, и никто бы не удивился, что я его делаю. Двоих такелажников — к лёгкому торцу, они там нужнее, лёгкий торец будет задираться. Одного — к боку. А новенького — к тяжёлому, на угол, на оттяжку, что шла от того самого перегнутого стропа.

— Стой тут, — сказал я ему, показав на бетон в двух шагах от угла контейнера, — и тяни на себя, когда скажу. Его поведёт носом вниз, ты держи нос, чтоб не ударило о борт трюма. Понял?

Он кивнул, не глядя мне в лицо, и встал, где я показал. В двух шагах от угла. Ровно под тем местом, куда ляжет угол длинного контейнера, если тяжёлый торец сорвётся и пойдёт вниз.

Тэйт стоял на полшага ближе, чем можно. Этого я поставил на два шага ближе.

— Вира помалу, — сказал я крановому.

Трос натянулся. Ноги стропа поползли, выбирая слабину, и легли. Контейнер оторвался от бетона — лёгкий торец первым, задираясь, как я и говорил, а тяжёлый на мгновение остался на месте, прижатый своим весом, и потом тоже пошёл вверх, медленно, перекошенный, носом вниз. Крановой глядел на меня. Я держал руку поднятой: помалу, помалу. Короткая нога на тяжёлом торце не легла на подхват. Перегнутая натянулась, как струна, и я услышал звук, который слышал тридцать лет и узнал бы во сне, — сухой, тонкий, как треск льда под сапогом: это лопается первая проволока в пряди, а за ней вторая, третья.

Новенький тоже его услышал. Человек, что не работал с тросом ни дня, этого звука не знает. Но всякий, кто ходил по краю, знает звук беды, какой бы она ни была, и он поднял голову — и впервые за двадцать суток посмотрел мне в лицо. Посмотрел через два шага бетона, снизу вверх, и я увидел, что он понял. Не про строп. Про меня.

Строп лопнул.

Тяжёлый торец сорвался и пошёл вниз всем весом — ту самую долю вдоха, пока короткая нога не легла на подхват. Она легла и рванула, и контейнер, развернувшись на ней, как дверь на петле, ударил углом в бетон — туда, куда я показал. Всё кончилось в одно движение, без крика, потому что кричать было уже нечем.

Потом закричали другие. Крановой матерился в кабине. Такелажники бросили оттяжки. Бригадный побелел, подбежал, глянул и отвернулся. Контейнер висел косо, на трёх ногах, упираясь углом в бетон, и под углом было то, что минуту назад стояло на оттяжке и держало меня в поле зрения.

— Подымай! — кричал бригадный крановому. — Подымай, мать твою, может, живой!

Живым он не был. Я знал это до того, как крановой, дрожа, приподнял угол на ладонь и мы вчетвером вытащили из-под него то, что вытаскивать уже не стоило. К нему я подошёл первым: старший подвеса подходит первым, это его груз и его строп. Я встал на колени на бетоне рядом, заслонив его спиной от остальных, и, пока бригадный орал на кранового, а такелажники стояли кругом, не зная, куда девать руки, расстегнул на нём куртку, будто проверяя, дышит ли. Левой рукой, той, что научилась тонкому. Плоский футляр во внутреннем кармане, из тех, в каких носят бумаги, ушёл ко мне в рукав так же, как ушёл когда-то в двигательной мёртвого борта старший судовой ключ: без звука, без лишнего движения, в одно касание.

— Не дышит, — сказал я и встал.

Портовый смотритель по безопасности приехал через полчаса — молодой, скучный, с доской. Спросил, кто вязал. Я сказал, что я. Спросил, почему строп лопнул. Я показал ему

перегнутую, распушённую ногу, и бригадный, белый как мел, заговорил раньше, чем я успел открыть рот. Строп казённый, старший его утром выбраковывал, а он, бригадный, велел работать, потому что других не дали. Траверсу утащили на соседнее поле. Новенький стоял не там, где велели, а ближе, по неопытности, руки-то у него были белые, не рабочие, все видели. Он говорил быстро, честно, со страхом, и всё, что он говорил, было правдой, и вся эта правда работала на меня. Такелажники кивали: да, выбраковывал, да, бригадный велел, да, новенький был неумелый. Смотритель записал: несчастный случай на погрузке, износ такелажа, поденщик нарушил место стоянки. Спросил, есть ли у покойного бумаги. Бригадный пожал плечами: поденщик, кто ж у них спрашивает. Смотритель записал: личность не установлена.

Таких не считают. Ни на дальних рейдах, ни на проходных мирах. Его увезли на тележке, накрыв брезентом, и через час на его месте у тяжёлого торца стоял другой поденщик, а контейнер, зацепленный на траверсу, которая мигом нашлась на соседнем поле, лёг в трюм по раскладке.

Смену я доработал до конца. Уйти раньше значило выделиться, а выделяться было нельзя. Бригадный заплатил мне не за полторы, а за одну — за уроненный груз полторы не платят, — и я не спорил. На обратной платформе, в пыли, меня никто ни о чём не спросил. Поденщики говорили про строп, про бригадного, про то, что на южном поле всегда так и что в прошлом месяце там тоже задавило одного. Я сидел с краю и молчал, как молчат после такого все.

Только молчал я не от того, от чего молчали они. Они молчали, потому что на месте новенького мог быть любой из них. Я молчал, потому что считал. Строка первая: хвост перерезан. Двое, что летят сюда на его зов, найдут не своего человека, а запись смотрителя — несчастный случай, личность не установлена, — и то не сразу, и только если догадаются спросить в карго-парке. А догадаться им не с чего: он отбил им прибыли, ведём, ждём, и больше от него не придёт ни слова. Строка вторая: сколько у меня дней. Если катер шёл за нашим бортом следом — дня три. Если ждал на соседней линии — неделя. Строка третья: что я сделал. Я поставил человека на два шага ближе, чем можно, и зацепил груз так, как цеплять нельзя. Своими руками. Я перебрал эту строку и не нашёл в ней ничего, что жгло бы. Он сел со мной в один салон затем, чтобы отвести меня к тем, кто кладёт людей в ряд и бьёт в спину бегущих. Я поставил его раньше, чем он меня. Это была не месть и не злоба. Это был расчёт, в котором у одного из нас не сходилось. Не сошлось у него.

Футляр я открыл только в ночлежке, в отхожем, запершись.

Бумаги были хорошие — плотные, с тиснением, с вшитой полоской для считывателя. Сверху стояла печать, тяжёлая, круглая, с якорем и весами, и под нею название страхового синдиката. О нём я слышал ещё от Чифа на Профите, когда тот рассказывал, кому достаются страховки за пропавшие борта. Ниже стояло имя — Пратт. И звание, какое я видел впервые в жизни: аварийный комиссар. С правом осмотра судов, грузов и бумаг. С правом опроса свидетелей на всех мирах, где синдикат страхует. С просьбой ко всякой страже оказывать содействие. На обороте — оттиск считывателя с номером разъездного катера, приписанного к синдикату, и две подписи старших, неразборчивые, как все подписи, которыми что-нибудь разрешают.

Я сидел на крышке отхожего в ночлежке проходного мира и держал в руках бумагу, от которой служака на досмотре поднял глаза.

Убийцы с кромки ходили не с ножом, а с печатью. По закону они были правы.

Глава 62. Опись

В футляре, кроме бумаг, лежали три тонких ключа с мелочью на дорогу и жетон от комнаты — латунный, затёртый, с выбитым номером и названием ночлежки. Моей ночлежки. Номер был через две двери от моего.

Я долго держал этот жетон на ладони. Человек, что лежал теперь под брезентом в холодной при портовом морге без имени, оставил за двумя дверями от меня всё, что не уместилось в футляр: мешок, вещи, то, ради чего он сел со мной в один салон. Двое, что летели сюда на его зов, первым делом пойдут не в морг и не в карго-парк, а сюда — в комнату, где он жил, потому что так ищут всегда: с последнего места, где человека видели живым. Значит, комната будет пуста, только пока они в пути. Значит, идти надо было этой ночью.

Я дождался глубокой ночи, когда ночлежка затихла вся, до последнего кашля за стенкой. Ночлежки на проходных мирах не затихают совсем никогда — кто-то всегда приходит с позднего борта, кто-то уходит на ранний, — но бывает час, когда коридор пуст и хозяин у входа спит, уронив голову на конторку. Я разулся, чтоб не стучать, взял с собой маленькую лампу, какую носят поденщики на ночные смены, и вышел.

Замок открылся жетоном без звука. Я вошёл, притворил дверь и, прежде чем зажечь лампу, постоял в темноте, привыкая. Комната пахла чужим человеком — мылом, ружейным маслом, кожей новых сапог. Ружейное масло я узнал сразу, хоть оружия никогда не держал: так пахло от стражи на заставах.

Потом я зажёг лампу, прикрыв её ладонью, и стал смотреть. Не трогать — смотреть. Это первое, чему учит грузовой трюм: прежде чем лезть руками, гляди, как лежит, потому что всё, что ты сдвинешь, ты должен будешь положить обратно точно так же, иначе на приёмке спросят, кто трогал. Я запоминал. Койка, застеленная по-казённому, с подвёрнутым углом. Мешок на крюке, завязанный узлом, какой вяжут не поденщики, а люди, привыкшие к порядку. Сменная рубаха на спинке стула, сложенная вдвое. Бритва на полке, рядом мыло. Под койкой — плоский ящичек с замком.

В мешке не было ничего, кроме того, что носит при себе всякий человек дороги: бельё, носки, плитки пайка, моток бечёвки, аптечка. Был ещё нож — узкий, в чехле, без всяких украшений, рабочий, из тех, что носят не для того, чтоб резать хлеб. Я взял его в руку, подержал, ощутил вес и положил обратно, как лежал. Нож не моё ремесло. Кто носит нож, тот однажды достаёт его не вовремя, и тогда нож решает за него. Я не хотел, чтоб за меня решало железо, которого я не знаю.

Ящичек под койкой был заперт простым замком, какие ставят от соседей, а не от умельцев. С таким замком я справлялся ещё на Профите, когда Холт терял ключи от кладовой. Внутри лежала папка. Обычная конторская папка, плотная, с завязками, и на ней надпись от руки, аккуратным почерком: по делу об убыли тягача Профит.

Я сел на пол, спиной к двери, поставил лампу между колен и развязал завязки.

Первым лежал страховой акт. Я читал такие бумаги всю жизнь, чужие и свои, и этот читал так же, как читал бы накладную, — сверху вниз, ничего не пропуская. Тягач Профит, приписан к конторе Аутбаунд, порт приписки — Даунсайд. Потерян во внешней тьме за Дампом, на кольцевом рейсе, в такой-то день. Дату я пересчитал дважды: выходило, что Профит потерян через год с небольшим после того, как я сошёл с него на Дампе. Причина убыли — разгерметизация корпуса вследствие износа, обнаружен дрейфующим, без признаков жизни. Экипаж — четверо, убыль полная. Ниже — список. Капитан Холт. Пилот — имя, мне незнакомое: видно, взяли нового, когда Рид наконец сошёл с кольца, как рвался. Грузчик — тоже имя незнакомое. И механик — Барр, Оуэн.

Я прочёл это имя трижды, пока понял, что это Чиф.

Тридцать лет я звал его по должности, как звали все, как звал его Холт, как звали до него другого Чифа, а до того ещё одного. Он сам говорил, что Чиф — не имя, а место у движка, и кто на этом месте, тот и Чиф. Имени его я не знал. Узнал из страхового акта, по которому его списали. Оуэн Барр, механик, убыль.

Я записал это так, как на борту записывают убыль: дата, причина, имя. Имя было новое. Всё остальное я знал и без акта. Разгерметизация вследствие износа — так пишут на всех дрейфующих бортах, где люди лежат в ряд со стянутыми проводом руками. Я видел один такой борт. Я знал, как там пахнет, хоть там и не пахло ничем, потому что в пустоте запахов нет. Чиф, что всю жизнь говорил про свой час — сойти вольным или лечь под движок деталью, — не сошёл и не лёг под движок. Он лёг под провод.

Внизу акта стояли подписи осмотревших: два аварийных комиссара синдиката. Ланг. Корд. И выплата получателю — конторе Аутбаунд, в такой-то сумме, полностью.

Я отложил акт и взял следующий лист.

Следующий лист был не бумагой синдиката, а рабочей описью — от руки, тем же аккуратным почерком, что на папке. Наверху: экипаж Профита, опрос. Ниже столбиком имена, и против каждого — отметка. Холт — крест. Барр, механик, — крест. Новый пилот — крест. Новый грузчик — крест. Рид, пилот прежний, сошёл с борта до убыли — против него не стояло ничего, ни креста, ни пометки, пустое место, будто писавший занёс руку и раздумал. И последней строкой, отдельно, подчёркнутой: Скорев В., третий помощник, сошёл на Дампе до убыли. Получатель причитающейся доли по расчёту за рейс. Разыскивается.

Получатель доли. Меня искали, как ищут человека, которому должны деньги.

Под этой строкой были подклеены две вещи. Первая — снимок из судового реестра Аутбаунда: тот самый, что сделали в найме на Даунсайде, когда я подписывал контракт накануне своего пятьдесят первого года. Старое лицо — без омоложения, без пяти стёртых лет, с глазами человека, который давно перестал ждать. Вторая вещь — листок с приметами, и вот его я читал дольше всего.

Рост такой-то. Седина ранняя, полная. Правая кисть — старый ожог, рубец глянцевый, безымянный и мизинец гнутся не до конца, мелкую работу делает левой. Держит руку на бедре, почти всегда, правую или левую. Садится спиной к стене, лицом к двери. Не спит среди людей. Говорит мало, скучно, на вопросы отвечает так, чтоб охота спрашивать пропала. Смотрит дольше, чем надо.

Я сидел на полу чужой комнаты и читал себя, записанного чужой рукой, и было это так, будто меня раздели при свете и обмерили. Рубец, пальцы, рука на бедре — это мог записать всякий, кто видел меня неделю. Но спину к стене, сон среди людей, скучные ответы, взгляд дольше надобного — это записал тот, кто сидел со мной за одним столом не день и не два. Кто знал меня не по виду, а по повадке. Таких на свете было немного. Чиф. Холт. Рид — с Профита, с тех лет, когда я ещё не знал, что надо прятать и повадку. А после Профита — разве что те, с кем я пил в дешёвом углу подогретую синтетику два месяца кряду.

Против Чифа и Холта стояли кресты. Против Рида — пустое место.

Я отложил и этот лист. Гадать было рано. Гадание — это когда считаешь без цифр, а цифр у меня пока было мало.

Под приметами лежал паспорт.

Мой паспорт. Тот, с которым я сошёл на Дампе с Профита, — на имя Виктора Скорева, с моим старым лицом, с датой рождения, с отметкой Аутбаунда о списании по возрасту. Я отдал его бумажнику в контейнере без окон, когда тот выправлял мне новый, — бумажник взял его, не глядя, и бросил в ящик для отработанных, где лежали, должно быть, десятки таких же сброшенных жизней. Он сказал тогда, что из этого ящика ничто никуда не уходит. Ушло. Лежало теперь на полу ночлежки на проходном мире, в папке с завязками, под листком с моими приметами.

Бумажник не отдал бы ящик по доброй воле. Бумажники не отдают ничего по доброй воле, на этом стоит их ремесло. Значит, его спросили так, как спрашивают Ланг и Корд. Значит, бумажника тоже больше нет, и его контейнер без окон стоит теперь на Дампе пустой или занят другим, а ящик для отработанных жизней разобран по чужим папкам.

Я положил паспорт обратно. Мне он был не нужен — человек с этим лицом и этим именем умер для всех на Дампе, и воскрешать его я не собирался. А им — пусть лежит. Пусть думают, что он у них.

Последними в папке лежали квитки дальней связи — тонкие, на серой бумаге, какие выдаёт будка вместе с текстом, чтоб было что предъявить при расчёте. Синдикат, видно, требовал отчёта за каждое слово, и Пратт хранил свои квитки, как хранят их все, кому потом за них отчитываться. Квитков было много, за много месяцев. Старые я перебрал, не читая каждый, а глядя на штампы мест и дат, как глядят на штампы застав в чужом паспорте, чтобы прочесть дорогу. Дорога вышла длинная. Дамп — в тот самый год, что стоял в акте Профита. Потом почти год пусто, ни одного квитка, будто они стояли где-то и ждали или искали, не тратя слов. Потом растущая планета, та, где я учился на риэлтора и продавал бизнес-класс: квитков оттуда много, за несколько месяцев, и последний из них — месяц-другой спустя после моего отъезда на курорт. Выходило, что несколько месяцев мы ходили по одним улицам и они меня не узнали: искали старое лицо. Потом опять кольцо, Хейвен и Дамп, далеко назад, туда, где меня не было уже несколько лет, будто кто-то сказал им, что я подался обратно к кораблям. И только потом курорт — за полгода до моего бегства. Этого поворота назад, к кольцу, я не понял и записал его себе в графу, которая не сходится. Кто-то повёл их не туда. Кто и зачем, я не знал.

Последние квитки я читал внимательно.

Последний полученный — с курорта, в день моего бегства, вечером. Сверено. Он. Ведёшь ты. Ждём, куда понесёт. Л.

Последний отправленный — отсюда, с Кроссинга, вчерашний полдень, тот самый, что он отбил у колонны в зале прибытия, пока я ставил свою первую проверку. Кроссинг. Ведём. П.

Ведёшь ты. Ждём, куда понесёт. Это было про меня, и это было ровно то, что я сложил на борту из его новых сапог и чистых рук. Нитка, привязанная к птице, чтоб найти гнездо. Я угадал. И оттого, что угадал, мне не стало легче, потому что теперь я держал в руках не догадку, а бумагу, а бумага — вещь куда холоднее догадки.

Но было в последнем полученном квитке и слово, о котором я не догадывался. Сверено.

Я сидел над этим словом, пока лампа не начала садиться. Сверено — значит, сверяли. Значит, было с чем сверять и было в чём сомневаться. Значит, тогда, у конторы, двое стояли у воды и глядели на мою дверь не потому, что пришли брать, а потому, что пришли проверить. А потом сверили. И вечером того же дня отбили: он.

Что именно сверили и как, я ещё не сложил. Это я оставил на потом, как оставляют на потом трудную графу, которая не сходится, — чтобы вернуться к ней со свежей головой. Сейчас надо было уходить.

Я сложил всё в папку в том порядке, в каком оно лежало: акт, опись, снимок, приметы, паспорт, квитки — последние полученные сверху, как они и были. Завязал завязки тем же узлом, каким они были завязаны, — узел у Пратта был особый, морской, и я вязал его дважды, пока не лёг так же. Закрыл ящичек и защёлкнул замок. Задвинул под койку на ту же ладонь от стены. Мешок на крюке не трогал. Рубашку на стуле не трогал. Жетон от комнаты оставил на полке у бритвы — там, куда человек бросает жетон, когда возвращается вечером, — пусть думают, что он вернулся и ушёл снова.

Знание, о котором никто не знает, дороже знания, которое украли. Возьми я папку — Двое, войдя сюда, поняли бы, что их бумаги читали, и стали бы гадать, кто и что прочёл. А так они найдут комнату своего человека нетронутой, папку на месте, жетон на полке, и подумают

одно: ушёл и не вернулся. Куда — узнают у портовой стражи, если догадаются спросить. Не сразу. Не всё.

Я задул лампу, постоял в темноте, слушая коридор, и вышел.

У себя я не стал ложиться. Сел на койку, спиной к стене, и разложил то, что принёс в голове, — не бумагу, а цифры.

Профит потерян через год с небольшим после моего ухода. Убыль полная, четверо. Осматривали Ланг и Корд — те самые двое, что стояли у моей конторы; теперь у них были имена. Значит, к Профиту они пришли раньше, чем ко мне, на годы раньше. Значит, они шли не за мной — они шли по Профиту, а я выпал у них из списка последним, как выпадает последний ящик из разбитого штабеля. Холт — крест. Чиф — крест. Новые — кресты. Рид — пустое место. Бумажник — ящик вскрыт. Мой старый паспорт — у них. Моё старое лицо — у них. Мои повадки, записанные тем, кто знал меня близко, — у них.

А вот нового моего лица у них не было. В папке лежал снимок пятидесятилетнего Виктора Скорева из найма на Даунсайде, и больше ни одного. Ни курортного, ни с растущей планеты, ни с пересадок. Ни моего нового имени. Только старое, с отметкой о списании.

Это была важная строка, и я подчеркнул её про себя дважды.

Перед рассветом я забрал из камеры хранения свою сумку, расплатился за комнату вперёд на три дня, чтоб хозяин не хватился меня раньше времени, переоделся в доброе платье в отхожем на углу и ушёл через весь Кроссинг, пешком и на трёх разных платформах, в другой его конец — туда, где у южных полей стояли ночлежки для каютных, тех, кто ждёт своих бортов не на скамьях, а в комнатах с замком изнутри. Там меня никто не видел в робе. Там я был немолодой господин, скупой, по скучному делу, с карточкой торговца пуговицами в кармане.

Сняв комнату, я лёг на кровать, не раздеваясь, и перебрал папку ещё раз — уже по памяти, медленно, лист за листом. И только на третьем круге понял, что в ней было главное. Не крест против Чифа, не мой паспорт, не приметы. Главное было в той строке, что они написали себе про меня: получатель причитающейся доли.

Они искали меня не как беглого. Беглого ищут тайком, и люди, у которых про беглого спрашивают, настораживаются и молчат: никто не хочет быть тем, кто выдал. А человека, которому должны деньги, ищут открыто, с печатью, и люди, у которых про него спрашивают, рады помочь, потому что помогают не беде, а удаче: вот, мол, повезло старику, причитается ему, найдите его, порадуйте. Хозяин угла, где я жил на растущей планете. Мастер, что стёр мне пять лет. Скупщик в задней комнатке за лавкой. Конторщики в агентстве. Всякий, кто знал меня хоть немного, рассказывал им про меня охотно, по доброте, — и каждый, рассказывая, думал, что делает мне добро.

Их не надо было ни пугать, ни подкупать. Им достаточно было показать печать с якорем и весами и сказать: ему причитается.

Глава 63. Заяц

В ночлежке для каютных были замки изнутри, вода по часам без счётчика и окно — узкое, в пыльной раме, на южное поле, где краны ворочались всю ночь. Я сел у этого окна на рассвете с кружкой горячей воды и вернулся к графе, что не сходилась. К слову сверено.

Сверено — значит, было с чем сверять. В папке у Пратта лежал один-единственный снимок, пятидесятилетний, из найма на Даунсайде, — старое лицо, которого больше нет. Нового лица у них не было. Были приметы: рубец, пальцы, рука на бедре, спиной к стене, взгляд дольше надобного. Было, значит, описание человека, а не лицо. С таким описанием можно обойти берег и спросить, нет ли тут приезжего, седого, немолодого, что держит руку на бедре, — и тебе укажут на десяток, потому что седых приезжих на курорте сотни, а руку на бедре держит всякий второй, у кого там кошелёк. А можно встать у двери, на которую указали, и смотреть. Ждать, не выйдет ли. Не повернётся ли так, как поворачивался тот, со снимка. Не сядет ли спиной к стене.

Вот они и стояли. Я вспомнил их у воды, через стекло конторы, — ровных, неподвижных, глядевших на мою дверь тем долгим взглядом, какой я прочёл тогда как взгляд охотника на нору. Я прочёл верно, да не до конца. Охотник у норы не знает наверное, кто там сидит, — лиса или барсук. Он ждёт, кто выскочит. И я сам тогда, у окна, подумал: они не знали ещё наверное, тот ли я, оттого и стояли. Подумал — и тут же встал и ушёл чёрным ходом.

Я отпил воды и посмотрел на краны.

Если бы я сидел. Если бы досидел над бумагами до вечера, вышел бы в парадную дверь, как всякий день, прошёл бы мимо них берегом домой — неторопливо, как ходят люди, которым нечего бояться, — что бы они увидели? Седого приезжего в добром платье. Таких на берегу сотни. Может, они пошли бы за мной, может, нет; может, сверяли бы ещё день, ещё неделю, ходили бы по пятам, искали бы руку на бедре и кривые пальцы, а я, догадавшись, ушёл бы иначе — тихо, со временем, с запасом. А может, и ушли бы ни с чем, решив, что ошиблись, что это не тот седой.

А я побежал.

Человек, у которого нечего прятать, из-за двоих у воды не бросает среди бела дня контору, бумаги, дом, дело и не уходит в порт чёрным ходом. Так делает только тот, кто знает, кто стоит у воды. Я им это и показал. Заяц, который сидит в траве, — это просто трава. Заяц, который выскочил, — это заяц. Сверено. Он.

Я ушёл живым — и этим подписался.

И сразу за этим встала другая строка, которую я вчера только наметил. Десять билетов. Десять касс, десять личин, десять дорог в разные концы обитаемой тьмы, — весь мой лабиринт, которым я гордился, когда отваливал от тёплой планеты. Лабиринт строят против того, кто приходит потом и идёт по следу. А они не пришли потом. Они не спрашивали кассиров. Они в тот же вечер, когда я покупал свои билеты, посадили со мной в салон своего человека, и он поехал не по следу, а со мной. Все мои десять дорог, все мои коммерсанты и паломники к больной родне не стоили ничего, потому что шли не по билетам, а по человеку. Четыре месяца, что я считал купленными, мне не продали вовсе.

Это была вторая убыль за сутки, и я списал её так же, как первую: одной строкой. Кто знает, где ошибся, тот уже наполовину не ошибается.

Потом я сделал то, что делаю всякий раз, когда приходится пересчитывать заново, — выписал всех, кто знает. Не на бумагу, бумаги я не держу, а в голову, столбиком, как выписывают груз по накладной.

Кто знает моё новое лицо — то, что сделал мне дешёвый мастер на растущей планете, когда стёр пять лет? Сам мастер: он видел оба лица, старое и новое, и знает, что новое подго-

няли под бумагу. Скупщик в задней комнатке за лавкой, у которого я менял края своего старого ключа. Хозяин угла, где я жил первое время. Тучный хозяин агентства и все его зубастые. Курсы — человек тридцать, что видели меня два месяца кряду. Риша. Наследник и его люди — тихий человек при доме, секретарь, повар. Курортная контора, клерк, сезонник, что встречал меня в порту. Мои тихие покупатели, десяток.

Кто знает моё новое имя? Те же самые. Почти все.

Кто знает про бедро, про спину к стене, про взгляд дольше надобного? Этих меньше. Чиф — под крестом. Холт — под крестом. Рид — пустое место. И те, с кем я сидел за одним столом не неделю, а месяцами, кто видел меня близко, на отдыхе, когда человек держит себя слабее всего. Таких после Профита было трое: Риша, наследник и, может, клерк, с которым я делил контору.

Кто-то из этого столбика дал им дорогу. Не обязательно со зла — я понял это ещё ночью, над папкой: им достаточно было показать печать и сказать, что мне причитается. Но кто-то дал. Курорт они нашли не по билетам — по чьему-то слову.

И отсюда я вывел то, что решило всё дальше. От тех, кто идёт по следу, не убегают вперёд. Впереди у беглого одна пустота, а у тех, кто за ним, — время и печать, перед которой встаёт стража. Сколько ни беги, они дойдут: шли же они годами, от Дампа до курорта. От них уходят назад — по своему же следу, туда, где они уже были. Назад они не смотрят. Там у них всё сосчитано, там всё вычеркнуто, там пусто. А в этой пустоте лежит то, чего мне не хватало, — кто сдал, где их люди, что они знают и чего не знают. Кто сдал, тот и выведет к ним.

Это было решение. Я принял его, допив воду, — и сразу встала задача, без которой решение не стоило ничего. Двое видели меня. Не на снимке — живьём, через стекло конторы. Видели издали, через улицу, но видели. Нового моего лица в папке не было, а в головах у них оно теперь было. Идти с этим лицом назад, на растущую планету, где меня знала половина города, значило нести им себя на блюде. Лицо надо было менять — и не моложе, моложе было нельзя, а просто другое. И руку, которая значилась в приметах первой строкой.

А для этого нужно было время, и время на Кроссинге — без них.

Вечером я пошёл к воротам карго-парка. Там, у бочек с огнём, грелась вторая смена, и среди неё я нашёл того, кого искал: рыжего такелажника из нашей бригады, молодого, с выбитым зубом, который вчера на платформе, в пыли, всю дорогу ныл, что ему бы до Пыльного Пояса, там на шахтах платят за смену втрое, да билета не на что. Я отвёл его в сторону.

— Рейс мне отменили, — сказал я. — Контракт сорвался. А билет не сдать, касса не берёт. На рудовоз, за Пояс, завтра утром. Возьмёшь? Всё одно пропадёт.

Он глядел на меня, не веря, потом на билет, потом опять на меня.

— А имя-то не моё, — сказал он.

— На рудовозе кто смотрит, — сказал я. — Поденщиков сажают по счёту, не по лицу. Сядешь — и сиди.

Он взял. Он сказал, что век не забудет, и я поверил, что не забудет, — у таких, как он, век недлинный. Билет был куплен на то же имя, каким я записался в дешёвой ночлежке, где жил через две двери от Пратта. Я сам так сделал позавчера — тогда для проверки, а теперь эта проверка работала второй раз. Хозяин ночлежки скажет: старик в добром платье, через две двери от вашего, ушёл на рассвете, заплатив вперёд. Они спросят в кассах про это имя. Касса скажет: рудовоз за Пыльный Пояс, утренний. На рудовозе, в списке посаженных, будет стоять это имя, и под ним человек сядет и поедет.

Человек в бегах путается: записывается под одним именем дважды, потому что голова занята другим. Они это знают и этим кормятся. Пусть думают, что я спутался.

Про рыжего я тоже подумал — один раз, коротко, как думают про ящик, который ставят в штабель на нижний ярус: выдержит или нет. Двое догонят рудовоз — не сразу, через недели, на том мире за Поясом, где он сойдёт. Найдут под моим именем рыжего, без зуба, двадцати

пяти лет. Спросят его, где взял билет. Он скажет. Что они сделают с ним после, я знал по кресту против Чифа. Я записал эту строку и не стал её вычёркивать. Билет он взял сам. Я ему ничего не обещал.

Наутро я пошёл в терминал смотреть табло прибытий. Номер разъездного катера синдиката стоял у меня в голове с позавчерашней ночи, с оборота бумаг Пратта. Табло я обходил каждый час, как обходят вахту, — между делом, мимоходом, по пути к лотку с тестом или к отхожему. Утром номера не было. В полдень не было. К вечеру он появился: поле восьмое, посадка такая-то, разъездной, синдикат.

Я поднялся на верхнюю галерею терминала, откуда видно выход с восьмого поля. На галерее ждали своих бортов человек двести, сидели на скамьях, на мешках, на полу, и я сел среди них, у колонны, развернув на коленях листок с ценами на воду, какие раздают у раздатчиков. В добром платье на галерее сидели многие — каютные, что ждали посадки и не хотели сидеть в ночлежках. Я был одним из них.

Они вышли с поля вдвоём, без провожатых, без носильщиков, каждый с мешком на плече. Я узнал их сразу — не по лицам, лиц я с такой высоты не разглядел бы, а по тому, как они шли: один чуть впереди, другой чуть сбоку, прикрывая, и оба, не сговариваясь, держали в поле зрения оба конца зала. Так они стояли тогда у воды. Тот, что впереди, был тяжелее, шире, шёл неторопливо, вразвалку, как ходит человек, которому некуда спешить, потому что всё и так будет по его, — Ланг, решил я, старший. Тот, что сбоку, был длиннее, суше, и голова у него поворачивалась чаще, — Корд.

Они не спрашивали дорогу. Они знали, куда идти: через зал, к северному выходу, к ночлежкам, к той, где жил Пратт. Шли спокойно. Своего человека они ещё не хватились по-настоящему — он не отбил им ничего вторые сутки, но на дальней связи бывают перебои, бывает, что человек ведёт и ему некогда. Я смотрел им в спины, пока они не скрылись в толпе у северного выхода, и считал, сколько им понадобится. Ночлежка — час. Хозяин, книга, комната Пратта, нетронутая, с папкой на месте, — ещё час. Портовая стража — если догадаются. Каргопарк, морг, личность не установлена, строп — день. Касса, имя из ночлежной книги, рудовоз — день. Двое суток. Рудовоз ушёл сегодня утром.

Эти двое суток я не сидел сложа руки. Лицо надо было менять здесь, на Кроссинге, — на растущую планету с моим лицом не поедешь, а на всяком другом мире искать мастера с нуля значило светиться лишний раз. Мастеров на проходном мире было много: там, где сходятся десять линий, всегда кто-нибудь хочет выйти не тем, кем вошёл. Только спрашивать про них в лоб было нельзя. Я спрашивал в обход. У торговца тканями при ночлежках — где тут подлечивают лицо, жене после ожога. У старухи, что продавала у раздатчика травы от всего, — нет ли кого, кто чинит руки после дурной работы, а то у брата пальцы не гнутся. У ночного сторожа ночлежки — кто тут делает так, чтобы родная мать не узнала, это я спросил шутя, с усмешкой, как спрашивают про небылицы, и он, усмехнувшись в ответ, назвал улицу в старом квартале у западных полей, где по вывескам чинят часы, а без вывесок — людей. Трое назвали одну и ту же улицу. На проходных мирах всё, что делается тайно, знает всякий, кто там живёт, — тайна там не в том, чтоб никто не знал, а в том, чтоб никто не спрашивал.

Они управились быстрее. На третье утро номер их катера снова стоял на табло — убытие, поле восьмое, курс к Пыльному Поясу. Я сидел на галерее, у той же колонны, с тем же листком цен на воду, и видел, как они шли через зал к полю — так же, вдвоём, с мешками, — и как Корд на ходу что-то говорил Лангу, а Ланг не отвечал. У самой лестницы на поле Корд вдруг поднял голову и повёл глазами по галерее — медленно, слева направо, по лицам, по скамьям, по колоннам. Так он, видно, оглядывал всякое место, откуда видно, как он уходит. Я не опустил головы и не отвернулся: опустивший голову — первый, на ком задержится глаз. Я читал свой листок, водя пальцем по строке, как читает подслеповатый, и шевелил губами, как шевелил

ими в салоне отец семейства, что всё считал и никак не мог сосчитать. Взгляд Корда прошёл по мне и не остановился. Прошёл дальше, до конца галереи, и вернулся к лестнице.

Один раз. Не дважды. Катер ушёл в бурое небо Кроссинга и пропал. Рудовоз шёл к Поясу три недели. Разъездной догонит его за две.

У меня было месяца полтора. Может, два — если рыжий будет держаться долго, прежде чем скажет.

В тот же день, спускаясь с галереи, я купил у лотка при выходе пачку сплетен — так на Кроссинге продают вести с дальних миров: листки с новостями, собранными с проходящих бортов, по мирам, за медяк пачка, вместе с жареным тестом и водой. Брал я их по привычке, ещё с Профита: кто читает сплетни, тот знает, куда дует ветер. Сел у колонны и стал листать, ища не новости, а знакомые слова.

Курортные листки шли в самом низу пачки. Новый сезон. Цены на берег. Чья-то яхта, чья-то свадьба, чьё-то разорение. А на третьей странице, в столбце происшествий, маленькая заметка, строк на пять.

В пустом доме на втором берегу найден мёртвым служащий риэлторской конторы, немолодой, давний, всеми уважаемый. Обнаружен утром, хотя накануне, по словам сослуживцев, отправился туда к шести вечера, чтобы показать дом покупателю. Покупатель не найден. Дом выставлен на продажу. Следствие полагает, что это ограбление.

Я перечитал заметку дважды. Сухой клерк с усталыми глазами, что дал мне первые мои бумаги на том берегу и потом, глядя, как расходится мой десяток, проникся ко мне уважением. Последний, кому я солгал на курорте. Он спросил меня, не гляну ли я вечером один дом, — не то придёт покупатель. Я ответил, держа на лице всегдашнюю свою ровную скуку, что гляну, что пусть ведёт покупателя к шести.

Двое, войдя в контору и найдя мой стол пустым, спросили его, куда я делся. Он сказал им правду, как она была ему известна: к шести будет в доме на втором берегу. Они пошли туда к шести. Ждали меня. Дождались его — и покупателя, если покупатель был. Меня не было. Свидетель, который видел их лица и знал, кого они ищут, остался.

Таких они не оставляют. Против Чифа стоял крест.

Я сложил листок вчетверо и убрал в карман, к карточке торговца пуговицами. Моя ложь сработала лучше, чем я рассчитывал: она увела их от порта на целый вечер. Клерку она стоила жизни, мне дала день форы.

В счёт.

Глава 64. Рука

Улица, где по вывескам чинили часы, а без вывесок — людей, шла кривым коридором меж складов у западных полей, в старом квартале, который построили, когда Кроссинг был ещё не портом, а стоянкой, и потом забыли снести. Дома здесь лепились один к другому, низкие, из того же бурого камня, что вся равнина, с окнами, заложенными наполовину от пыли. Часовых мастерских было пять. Над тремя висели настоящие вывески с нарисованными стрелками, над двумя — ничего, только дверь и звонок.

Я прошёл улицу дважды, туда и обратно, как проходят мимо товара, прицениваясь. Звонил в обе двери без вывесок. В первой мне открыл молодой, гладкий, с сытым лицом и слишком белыми руками, и сказал, что берёт вперёд половину, а работы покажет на снимках, если угодно. Я поблагодарил и ушёл: тот, кто показывает свою работу на снимках, показывает и чужим, а сытое лицо у мастера такого ремесла значит, что он берёт деньги не только с тех, кого чинит.

Во второй мне открыл старик. Ниже меня, сухой, сутулый, в кожаном фартуке, прожжённом в двух местах, с трубкой в зубах, которую он не вынул, разговаривая. Он оглядел меня с порога — не лицо, а всего, с головы до сапог, — и посторонился, впуская.

Внутри была мастерская, и правда часовая: верстак у окна, лупа на кронштейне, ящички с колёсиками и пружинами, на стене — десятка два часов, и все шли, каждые по-своему. А за верстаком, за занавеской, — вторая комната, белая, чистая, с узким столом, лампой на шарнире и стеклянным шкафом, где лежало железо, какого я не видел даже у медика на заставе.

— Садись, — сказал старик и кивнул на табурет у верстака. — Сначала скажешь, чего хочешь. Потом я скажу, что можно. Потом поторгуемся. Потом решишь. Обратно в другом порядке не бывает.

Говорил он с выговором, какой бывает у судовых: коротко, с проглоченными окончаниями, как говорят люди, привыкшие перекрикивать машину. Я спросил, не ходил ли он по кораблям. Он вынул трубку впервые и поглядел на меня внимательнее.

— Лекарем, — сказал он. — Двадцать лет на тяжёлых тягачах. Потом меня списали. Не по возрасту — за то, что резал не тех и не по приказу. Сюда пришёл, тут и остался. Чинить часы мне нравится больше, чем людей: часы не врут, что у них болит. Чего хочешь?

Я сказал. Лицо — другое. Не моложе: моложе нельзя, у меня на бумаге и так скинуто пять лет, больше — выйдет молодящийся, а молодящийся хуже старого. Просто другое. Такое, чтобы человек, видевший меня раз через стекло через улицу, не узнал. И чтобы тот, кто знает меня по снимку пятилетней давности, тоже не узнал.

— И руку, — сказал я.

Снял перчатку и положил правую руку на верстак, под его лампу.

Он смотрел на неё долго. Взял в свои пальцы — сухие, жёлтые от табака, крепкие, — повернул к свету, ладонью вверх, ладонью вниз. Провёл ногтем по глянцу рубца. Попробовал разогнуть безымянный, потом мизинец — они пошли до того места, до какого шли всегда, и встали.

— Кто шил? — спросил он.

— Никто. Механик мазал. На дальнем рейде.

— Видно, что никто. — Он отпустил руку. — Тебя тогда паром или теплоносителем?

— Теплоносителем.

— Рубец стянул сухожилия, — сказал он, — и кожа села, как сохнет мокрая кожа на сапоге. Пальцы держит не кость, а шрам. Его режут, распускают, кожу берут с бедра, кладут заплатой. Пальцы пойдут. Не совсем, но пойдут. Будут слабее — недели три как деревянные, потом месяц, как чужие, потом привыкнешь. Тонкое придётся учить заново. Рубец будет дру-

гой: не глянцевый, а как штопка. И не здесь, — он ткнул в тыльную сторону, — а вот тут, вдоль. — Он поднял на меня глаза. — Рука будет не лучше. Другая.

— Мне и нужна другая.

Он кивнул, будто так и думал.

С лицом он возился дольше: смотрел на свет, сбоку, снизу, трогал нос, скулы, лоб над бровями, нажимал большим пальцем под глазом, как я когда-то нажимал на бок контейнера, проверяя, где пустота. Потом сел на табурет напротив и стал говорить, как говорят на приёмке — что есть, что можно, что почём.

— Нос сломаю, — сказал он. — Он у тебя прямой, такой запоминают. Срастётся с горбинкой, чуть вбок. Бровь опущу — у тебя брови стоят высоко, как у тех, кто всю жизнь удивляется или прислушивается. Опущу — будешь глядеть хмуро. Скулу не трону: скула — кость, ломать её дорого и долго, а толку мало. Губу не трону. Бороду отпустишь сам — бороду я не продаю, она растёт даром. Голову обреешь. Седой с бородой и бритой головой, с носом набок и хмурый — это другой человек. Мать не узнает. Тот, кто видел через стекло, и подавно.

— А глаза? — спросил я.

— Глаза не трогают. — Он сунул в рот трубку и раскурил. — Глаза не правятся никак. Если тот, кто тебя ищет, знает тебя по глазам, — тут я тебе не помощник, тут уж ты сам.

Я вспомнил листок с приметами в папке Пратта: смотрит дольше, чем надо. Этого он тоже не правил.

Поторговались. Он назвал цену, какую называют, зная, что поторгуются, и я сбил её на четверть, а он не обиделся. Цена всё равно вышла большая — две трети того, что я держал на ключах с курортными комиссионными. Я заплатил половину вперёд. Он взял, пересчитал на своём считывателе — старом, с треснувшим краем, как у старьёвщика на Дампе, — и убрал.

— Ко мне ходят не за красотой, — сказал он, глядя мимо меня, на свои часы на стене. — Ко мне ходят те, кого ищут. Я это знаю, и ты это знаешь, так что врать друг другу не будем. Я никому ничего не говорю. Пока мне не заплатят больше, чем ты.

Он сказал это без угрозы и без усмешки — так, как говорят условия рейса: полгода туда, полгода обратно, довольствие по норме, при невозможности возвращения контора обязательств не несёт. Я оценил честность. Честность в таком деле стоит дороже молчания, потому что молчание может кончиться внезапно, а честность предупреждает заранее, когда оно кончится.

— Год назад, — сказал он, выпуская дым, — сюда ходил один вежливый. Обошёл всех на улице, и меня. Спрашивал, не правил ли кто лицо человеку, что скинул пять лет, — седому, с обожжённой правой рукой. Платил за ответы и не торговался. Я ему сказал, что не правил, и это была правда. Тебя я тогда не знал.

— Какой он был? — спросил я.

— Вежливый. Сухой. Глядел не дольше, чем надо. — Он пожал плечами. — Такой, каких не запоминают. Как ты. Я ещё подумал тогда: похож на того, кого ищет.

Я подумал на Двоих. Год назад они шли по растущей планете, искали меня там, по квиткам Пратта, и кто-нибудь из них, или их человек, мог обойти и проходные миры, где правят лица. Подумал — и записал в голове, на всякий случай, другим цветом: сухой, вежливый, не торгуется, похож на меня. Ланг не был сухим. Корд не был вежливым — это видно было даже с галереи.

Он резал меня два дня.

В первый день — лицо. Нос он сломал коротко, одним движением, каким ломают сухую ветку, и я услышал хруст изнутри головы, а боли сперва не услышал, потому что он перед тем обколол меня чем-то, от чего лицо стало чужим и деревянным. Потом боль пришла, тупая, тяжёлая, и стояла во мне весь вечер и всю ночь, а я лежал в его белой комнатке на узком столе,

с повязкой поперёк лица, и слушал, как за занавеской идут его часы. Двадцать штук, и все по-своему. Под этот ход я считал.

Я считал, сколько у меня дней. Двое ушли к Пыльному Поясу. Догонят рудовоз — через две недели. Найдут там рыжего под моим именем. Спросят. Рыжий скажет — сразу ли, нет ли, — где взял билет и у кого: у старика, что был старшим подвеса на южном поле в тот день, когда задавило новенького. Тогда они поймут всё. И про строп, и про Пратта, и про то, что я не на рудовозе, а там, откуда рудовоз ушёл. И повернут назад. Ещё две недели. Месяц — самое малое. Полтора — если рыжий будет держаться.

Я считал, сколько мне надо. Заживить лицо так, чтобы не было видно, что его правили, — три недели, сказал старик. Отрастить бороду, чтоб была бородой, а не щетиной, — столько же. Руку — дольше, но руку можно носить в перчатке.

Выходило впритык. Я записал это и стал ждать утра.

Во второй день он резал руку. Это было дольше и хуже. Он обколол её до локтя, разложил на белой доске, привязал ремнями, чтоб не дёрнулась, и работал под своей лампой час за часом, а я лежал, отвернувшись, и смотрел в потолок, где была трещина, похожая на линию кольца на старой навигационной карте Профита: Синдер, Хайв, Пит, Хейвен, Дамп. Я водил по ней глазами, как водил когда-то пальцем Рид, показывая мне, где мы, и думал, что рука, которую режут сейчас под чужой лампой, — та самая, что кормила меня всю жизнь. Она таскала груз, вязала стропы, держала ключ на теплоносителе, когда лопнула магистраль, и сварилась тогда, спасая движок, а потом заново выучилась тонкому — левой, и правой тоже, как могла. Этой рукой я на днях завёл перегнутый строп на тяжёлый торец.

Рука, что кормила меня всю жизнь, стала приметой. Первой строкой в чужом листке. Я отдавал её второй раз: первый раз — теплоносителю, теперь — старому лекарю на проходном мире. В тот раз — чтоб спасти движок. В этот — чтоб спасти себя. Не жалко. Жалеть можно о том, что отняли. А то, что отдаёшь сам за дело, — это не потеря, а цена.

Когда он кончил и отвязал ремни, рука лежала на доске толстая, белая, в повязке, с прямыми пальцами, как у покойника. Прямыми. Впервые за столько лет.

— Шевелить не вздумай, — сказал он. — Три недели. Потом будешь учить. Перевязки — через день, первую послезавтра. Мази дам. Если пойдёт краснота и жар — ко мне сразу, не жди, такую руку потерять легче, чем кажется.

Я сказал, что приду послезавтра.

— Где отлёживаться будешь? — спросил он, как спрашивают лекари, — между делом, укладывая инструмент.

— У Сухих Озёр, — сказал я. — Там у меня родня. Сестра.

Он кивнул и больше не спрашивал. Сухие Озёра были на другом конце Кроссинга, в двух сутках езды по равнине. Никакой сестры у меня там не было. Я лежал в ночлежке для каютных у южных полей, в часе ходьбы от его улицы.

Он мне сам сказал условия, и я сам себе их сосчитал. Пока ему не заплатят больше. А больше ему заплатят — рано или поздно, если придут те, у кого есть чем платить. Пусть тогда продаёт им Сухие Озёра.

Два дня я лежал у себя, не выходя, с лицом в повязке и рукой на подушке, и учил себя другому. Это была работа, какой я не ждал, и она оказалась тяжелее, чем резать руку.

В приметах стояло: держит руку на бедре. Я знал за собой эту привычку, но не знал, как глубоко она сидит. Ключ лежал у бедра столько лет, сколько я его носил, и рука тянулась к нему сама, как язык тянется к больному зубу, — проверить, на месте ли. Ключ я переложил. В первую же ночь, левой рукой, кое-как, расковырял каблук левого сапога, выбрал в нём гнездо, уложил туда старший судовой ключ с двумя его битыми частями, завернув в промасленную тряпицу, и забил каблук обратно — криво, но держалось. Пояс с тремя профитовскими ключами и старым оплавленным оставил на себе. Теперь у бедра не было ничего.

А рука всё равно тянулась. Я ловил её на этом каждые несколько минут — когда вставал, когда садился, когда шёл к двери, когда слышал шаги в коридоре. Особенно когда слышал шаги. Рука шла к бедру сама, раньше, чем голова успевала подумать, и голова, догнав её, находила её там. Тогда я стал щипать себя — левой здоровой рукой правую ногу, у самого бедра, сильно, до синяка. Всякий раз. Каждые несколько минут. За два дня бедро у меня стало синее, как штормовое небо над Синдером.

На третий день рука потянулась реже. На пятый — ещё реже. Привычку, которую носишь полжизни, не снимешь, как платье. Её выбивают, как выбивают из троса старый перегиб: долго, с силой, по одному месту. Спину к стене я выбивать не стал. Это было глубже, и это было нужнее: в комнате, где я сажусь лицом к двери, у меня есть время на одно движение, а одно движение — это иногда вся жизнь. Но я выучился садиться так, будто это вышло случайно: брать место у стены, потому что оно ближе к окну, к свету, к раздатчику, — так, чтоб у моей спины всегда была причина.

На второе утро, как и обещал, я пошёл к старику на перевязку. Пошёл не прямо, а через рынок у ночлежек и через две платформы, проверяясь, как проверялся всякий раз. Проверка была чиста. На кривой улице часовщиков было тихо, как всегда в этот час: три вывески со стрелками, две двери без вывесок.

У второй двери стоял стражник.

Не портовый — квартальный, в серой куртке, скучный. Дверь за ним была приоткрыта, внутри ходили двое в таких же куртках, и кто-то писал на доске. Я не остановился. Остановиться значило бы показать, что мне есть дело до этой двери. Я прошёл мимо, как проходят мимо всякой беды на чужой улице, — замедлив шаг ровно настолько, насколько замедляют его зеваки, и глянув ровно туда, куда глядят зеваки. Часы на стене шли. На верстаке лежала лупа на кронштейне. На полу у верстака стояли его сапоги, а над сапогами, на табурете, сидел старик в своём прожжённом фартуке, уронив голову на верстак, будто заснул за работой.

Через две двери, у часовщика с вывеской, на пороге стояла соседка и рассказывала другой соседке, громко, на всю улицу, как рассказывают на таких улицах всё: нашли утром, сам помер, сердце, говорят, за работой, в его-то годы, оно и понятно, курил много. Ни крови, ни разбитого стекла, ни вывернутых ящиков. Стеклянный шкаф с железом стоял нетронутый. Деньги, сказала соседка, при нём нашли, все, стража пересчитала.

Я дошёл до конца улицы и свернул за угол.

Двое были на пути к Пыльному Поясу. Их людей на Кроссинге я не видел и не чуял, а я бы почуял: двое у конторы работали грубо и прямо, и после них остаются тела, а не сердца. Тот, кто пришёл к старику ночью, не взял денег и не тронул шкафа. Он пришёл не грабить и не спрашивать. Он пришёл, чтоб старик больше никому ничего не сказал — ни мне, ни тем, кто заплатит больше.

Старик был единственным на Кроссинге, кто видел моё новое лицо. Теперь его не видел никто.

Кто-то шёл за мной след в след и закрывал за мной двери.

Меня кто-то берёг. Кто и зачем — я не знал. И от этого мне было холоднее, чем от Двоих.

Глава 65. След

Бумаги на новое имя я выправил на Кроссинге за неделю до отлёта, у бумажника с той же улицы часовщиков, только с другого её конца, — после старика я не пошёл бы к нему ни за что, но старика больше не было, а бумаги были нужны. Имя называть не стану: имён у меня теперь было больше, чем рубах, и всякое новое я носил так, как носят дорожное платье, — не привыкая. Бумаги вышли хорошие, на седого бритого бородача с носом набок, на пять лет моложе правды, как и прежние. Курортные бумаги я тоже не выбросил. Бедный человек не выбрасывает и донышка.

С зеркалом я свыкся не сразу. На меня глядел из стекла хмурый старик с бритой головой и короткой седой бородой, с носом, что лёг горбом и чуть вбок, будто его когда-то сломали в драке, — и брови у него сидели низко, так, что глаза из-под них смотрели не прислушиваясь, а прицениваясь. Только сами глаза были мои. Старик-лекарь был прав: глаза не правятся никак. Правая рука лежала в перчатке, и под перчаткой были прямые пальцы, деревянные, слабые, с рубцом вдоль ладони, как штопка. Я учил их по утрам: брать кружку, держать ложку, застёгивать пуговицу. Пуговица давалась дольше всего.

На борту к растущей планете, в общем салоне, я прочёл в сводке с Пыльного Пояса пять строк. На руднике за Сухой грядой найден мёртвым поденщик, прибывший рудовозом с Кроссинга. Молодой, рыжий, без переднего зуба. Бумаг при нём не обнаружено, билет выписан на другое имя. Следствие полагает — сведение счётов меж поденщиками.

Рыжий, видно, держался недолго. Я записал строку и пересчитал свои дни. Если он сказал им сразу, то Двое знают уже две недели, что меня на рудовозе нет и что билет ему дал старший подвеса с южного поля. Значит, они поворачивают назад, к Кроссингу. На Кроссинге найдут улицу часовщиков, мёртвого старика, след к Сухим Озёрам — и, может, потратят на Озёра неделю, а может, и не потратят. Значит, у меня не месяц. У меня, может, три недели. Может, меньше.

Растущая планета встретила меня тем же, чем провожала: стройкой. Башни в восемьдесят и сто этажей, что при мне стояли каркасами, теперь горели окнами, а за ними поднимались новые каркасы, ещё выше. Над срединными кварталами, как и прежде, висел светящийся купол, под который к ночи подпускали синевы, чтоб приезжие не тосковали по небу, а под куполом шла та же суета, что и годы назад, — тысячи приезжих, что перепридумывают себя, потому что тут все себя перепридумывают и никто не спрашивает, кем ты был. Здесь я сам когда-то перепридумал себя впервые. Теперь вернулся сюда другим лицом — как вор возвращается на место, где его не поймали, проверить, не осталось ли там чего.

Я пошёл по своему следу так, как ревизор проходит склад: по описи, от первой строки до последней, не пропуская ничего и ничего не трогая руками.

Первой строкой был мастер — тот, дешёвый, что стёр мне пять лет. Полуподвал в приезжем квартале, без вывески, с тесной приёмной, где пахло резким, лекарственным. Полуподвал был на месте. Дверь в него заколочена крест-накрест досками, и доски уже посерели от пыли. Я постоял у лотка напротив, взял горячего питья в бумажной кружке и спросил лоточника, мол, говорили, тут лица правят недорого, не переехал ли куда. Лоточник покачал головой. Правили, сказал он, да кончили. С полгода как. Пришли ночью, перевернули всё, его самого нашли утром в приёмной — так отделали, что хоронили закрытым. Ограбили, говорят, деньги искали. Какие у него деньги, сказал лоточник, у него деньги все в руках были, а руки ему, говорят, первым делом и поломали.

Я допил, поблагодарил и пошёл дальше. Мастер видел оба моих лица, старое и новое, и знал, что новое подгоняли под бумагу. Ему поломали руки, чтоб узнать, какое было новое. Почерк я знал: так кладут людей в ряд со стянутыми проводом руками.

Второй строкой был скупщик — тот, у которого я менял края своего старого оплавленного ключа, в задней комнатке за лавкой, где он сказал мне, щурясь, что деньги-то не здешние. Лавка стояла на месте, но торговали в ней теперь другим: вместо всякой мелочи — дешёвым платьем для приезжих, и за прилавком стояла молодая баба с ребёнком на руках. Я купил у неё носки и, расплачиваясь, спросил про прежнего хозяина. С лестницы упал, сказала она, перекладывая ребёнка на другую руку. В погреб, по ступенькам, шею свернул. Пьяный, говорят, был, а он не пил вовсе, это все знают. С полгода как. Лавку продали за долги, она её и взяла.

С лестницы падают. С полгода как. Я записал и вторую строку.

Третьей строкой был хозяин угла, где я жил первое время, когда только прилетел и снял себе каморку с окном. Каморка была в старом доме у края приезжего квартала. Хозяина в доме не было. Соседка снизу, старуха, что когда-то при мне вечно сидела на ступеньках с вязаньем, сидела и теперь, только вязанье было другое. Съехал, сказала она охотно, — старухи на ступеньках любят рассказывать, — съехал при хороших деньгах. С год тому. Приходил к нему человек, вежливый такой, чистенький, долго у него сидел, а через неделю хозяин дом продал за полцены, вещи раздал и улетел куда-то, на дальний мир, к дочери, что ли. Довольный был. Я спросил, какой был человек. Вежливый, повторила старуха. Сухой. Такой, знаешь, что глянешь — и забудешь. Ты, говорит, на него похож даже немного.

Это была третья строка, и она была другого почерка.

Я сидел вечером в дешёвой харчевне у края приезжего квартала, спиной к стене, потому что там было место у окна, и раскладывал строки по двум столбцам, как раскладывают груз по двум трюмам.

В первый столбец ложилось грубое. Мастер — руки поломаны, хоронили закрытым. Скупщик — шею свернул, а не пил вовсе. Клерк на курорте — в пустом доме к шести. Чиф — под проводом. Бумажник — ящик вскрыт. Это был почерк Двоих: прийти, спросить так, как спрашивают они, взять, что сказано, и не оставить того, кто сказал. После них оставались тела, и тела эти потом списывались — на ограбление, на лестницу, на разгерметизацию вследствие износа.

Во второй столбец ложилось чистое. Хозяин угла — съехал при хороших деньгах, вежливый человек сидел у него долго. Старик-лекарь на Кроссинге — сердце, за работой, деньги при нём все. Тот вежливый, сухой, что год назад обходил мастеров на Кроссинге и платил, не торгуясь. Тут не оставалось тел — или оставались, но такие, что их не к чему было приписать, кроме старости. Люди или исчезали с деньгами, или умирали так, как умирают сами. И всякий раз рядом мелькал кто-то вежливый, сухой, на меня похожий.

Два почерка. Два хода по одному моему следу. Первый шёл за мной, как идут за дичью, — по крови, по клочьям шерсти на сучьях. Второй шёл как будто рядом — и закрывал за мной двери, которые первый открывал бы.

Зачем второй делал это, я не знал. Но я знал теперь, что он есть, и что ходит он давно — год, не меньше, — и что Двое о нём, может, и не догадываются. Это была новая графа. Я завёл её и оставил пустой.

По дороге к четвёртой строке я прошёл мимо торгового дома в срединном квартале, где когда-то два месяца учился на риэлтора, — того же, с теми же стеклянными дверями, с объявлением о новом наборе на курсы. Через дорогу от него было кафе. Дешёвый угол с подогретой синтетикой, с подобием кофе, с тем же парнишкой из приезжих за стойкой или с другим, таким же. Я не замедлил шага. Только глянул в окно, как глядит прохожий, — на столик у стены, где мы сидели. За столиком сидели двое чужих и ели. Я пошёл дальше. До этого угла была ещё очередь.

Четвёртой строкой была контора. Агентство в новой башне с видом на воду, где я продавал бизнес-класс, где отдавал покупателям свою комиссию и где стал лучшим, пока не уехал к наследнику. Туда я пошёл на другой день, при свете, в добром платье — новом, купленном

здесь же утром, другого кроя, чем носил прежде, потому что в агентстве помнили, как я одеваюсь, а платье помнят дольше лица.

Пошёл я туда как покупатель. Немолодой приезжий с деньгами, присматривает две комнаты бизнес-класса для дочери, что переезжает сюда с мужем. Меня встретил у входа молодой агент, гладкий, новый, которого я не знал, и повёл по этажам показывать. Я смотрел квартиры и смотрел контору. Контора была та же: стеклянная перегородка, за ней тучный мягкий хозяин с толстыми пальцами, доска с именами агентов и с числом сделок за год. Моего имени на доске не было — его стёрли, как стирают всё на досках. Первым теперь стоял тот, языкатый, что когда-то звал меня тихоходом.

Хозяин вышел ко мне сам, когда я, посмотрев три квартиры, сказал молодому, что две из них, может быть, и подойдут, если сойдёмся в цене. Хозяин любил выходить к покупателям, у которых деньги, — это я помнил. Он сел со мной в переговорной, тяжело, с одышкой, налил воды из графина и стал говорить так, как говорил всегда: тихо, мягко, гладко. О ценах. О стройке. О том, что дом этот лучший на этой стороне воды и что такого покупателя, как я, он ведёт сам.

Он меня не узнал. Я сидел против него на расстоянии вытянутой руки, хмурый, бритый, бородатый, с носом набок, и он глядел на меня так, как глядел на всякого покупателя с деньгами, — с ласковой цепкостью торговца, который прикидывает, сколько с тебя возьмёт. Глаза мои он видел. Глаза не узнал. Глаза узнаёт тот, кто в них глядел, а он никогда в них не глядел — он глядел мне на платье, на руки, на бумаги, на число сделок против моего имени.

— Скидку дадите? — спросил я.

Он засмеялся мягко, как смеются толстые люди, у которых всё хорошо.

— Скидку, — сказал он. — Был тут у меня один, давно, года два назад, всё скидки давал. Лучший мой агент, без шуток. Продавал дешевле всех, свою долю покупателю отдавал. Я поначалу думал — дурак, а он мне за год дом продал, который до него полгода стоял. — Он покачал головой. — Ушёл потом к застройщику, на курорт уехал. А после — вот ведь дело — приходили сюда люди, из страхового, с печатью, искали его. Причитается ему, говорят, доля какая-то по старому делу, деньги лежат, найти не могут. Мы им всё, что знали, рассказали. Куда уехал, к кому. Хорошему человеку и денег не жалко. Нашли ли, не знаю.

— Двое их было? — спросил я, будто от скуки, как спрашивают про чужую диковину.

— Двое, — сказал он. — Немолодые, крепкие, обходительные. Печать у них с якорем, синдикатская, большая контора. Всё записывали. И не только про отъезд — с кем водился, спрашивали, кто ему тут друг. А какие у него друзья, он же нелюдимый был. Разве что баба одна, с курсов, они вдвоём учились, — так мы и про неё сказали, где искать. Она ведь, может, адрес его знает, весточку получала. Мало ли.

— Повезло ему, — сказал я.

— Повезло, — согласился он. — Таким всегда везёт, кто не жадный.

Я сам это расписал когда-то — давно, в первые месяцы здесь, когда только стал отдавать комиссию и понял, что этим выхожу на свет. Придёт однажды в контору человек, спросит про агента, что продаёт дешевле всех, — будто покупатель. Пришли. Только не будто покупатели, а с печатью. И спросили не про агента, а про человека, которому причитается. И им рассказали всё, по доброте, — куда уехал, к кому. Хорошему человеку и денег не жалко.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.